

## НОМО СКРИПТОР: ВВЕДЕНИЕ В СКРИПТОРИКУ КАК АНТРОПОЛОГИЮ И ПЕРСОНОЛОГИЮ ПИСЬМА

М.Н. ЭПШТЕЙН

Эта статья есть попытка обоснования новой дисциплины, *скрипторики* (scriptorics), посвященной человеку пишущему, Homo Scriptor.

Сразу может возникнуть вопрос: разве история письма не изучается лингвистикой? Разве во второй половине XX в. не возникла наука грамматиология, специально посвященная письменности?<sup>1</sup> Разве не выдвинулось письмо в центр гуманитарно-научных интересов благодаря книге Ж. Деррида «О грамматиологии» (1967), где специфика письма положена в основание метода деконструкции? Можно даже говорить о «диктатуре» письма над всей территорией современного гуманитарного знания – «диктатуре», как бы на роду «написанной» письму (вот и в разговоре о нем никак не обойтись без его собственных терминов). «Диктатура» – от «диктовать», т.е. говорить так, чтобы за тобой записывали. Власть превращать устное слово в письменное – великая власть, и письмо в грамматиологии наделяется абсолютным приоритетом перед устным словом.

Однако именно нынешняя интеллектуальная диктатура письма побуждает критически отнестись к грамматиологии в ее постструктуралистском изводе и искать ей альтернативы в другой дисциплине – скрипторике. Сразу внесем ясность в соотношение этих дисциплин, сами названия которых указывают на их различие. Грамматиология – от греческого «gramma», нечто написанное (причастие от «grapho», пишу). «Скрипторика» – от латинского «scriptor» (от scribere, писать) – пишущий, писец, переписчик, писатель. «Грамма» – это о написанном, о буквах, письменных знаках, о том, что остается на бумаге (или экране). «Скриптор» – о субъекте письма, о том, что происходит между человеком и бумагой (экраном). Соответственно *грамматиология* – наука о письме, о письменности, о соотношении письма и голоса, устного и письменного языка, о роли пись-

ма в культуре. *Скрипторика* — наука о человеке пишущем, о письме и письменной деятельности, как образе жизни и способе отношения к миру. Скрипторика входит не столько в лингвистический, сколько в антропологический цикл дисциплин. Это антропология, этология, психология, характерология письма, как человеческой деятельности, идет ли речь о пишущих индивидах или коллективах, об экзистенциальном, национальном или конфессиональном отношении к письму.

### **Скрипторика и грамматология. От письма к пишущему**

Деятельность письма включает в себя множество разных социальных и экзистенциальных установок. Петрарка писал: «Scribendi vivendiqne mihi unus finis erit» («Я перестану писать, когда перестану жить»). Собственно, писать для него и значило жить. На другом полюсе находим гоголевского персонажа, маленького человека, для которого жить значило переписывать. «Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало». Между гением Возрождения, оставившим 14 томов сочинений, и Акакием Акакиевичем, не оставившим ничего, кроме чернильницы и перьев, есть лишь то общее, что писание было для них образом и смыслом жизни. Но сколь разные жизненные установки и мотивации у этой беспредельной преданности письму!

Это и есть главный вопрос скрипторики: *кто* пишет и *зачем*? Вопрос несущественный с точки зрения грамматологии, которая практически исключает роль пишущего субъекта. Мотивация такова: в отличие от говорящего, пишущий отсутствует в написанном, он пребывает там, где его нет: в том времени и пространстве, где остаются только его следы, которые суть также следы его исчезновения. Письмо оказалось идеальным объектом для деконструкции, поскольку, в отличие от полнобытийного устного слова, оно выдает отсутствие скриптора, а также тех предметов («означаемых»), которые его окружают, на которые он мог бы опереться или показать пальцем.

Из этого простого факта была выведена критика всей западной цивилизации и ее «метафизики присутствия», которая выразилась, в частности, в примате устной речи над

письмом. Историческая и структурная лингвистика «наивно» рассматривали письмо как вторичное отображение речи, как последнее место истины, удаленной от первоисточника — говорящего человека. В защиту самостоятельности и даже первичности письма Ж. Деррида и обосновал «ненауку» грамматику, которая не просто изучает системы письма, но исходит из письма как «другого» всей западной цивилизации, которое она пыталась принизить, загнать в подполье. Вся история метафизики, по Деррида, «неизбежно стремилась к редукции следа. Подчинение следа полноте наличия, обобщенной в логосе, принижение письма за счет речи, грезящей о своей полноте, — таковы жесты, требуемые онто-теологией, определяющей археологический и эсхатологический смысл бытия как наличия, как явленности...»<sup>2</sup>. Археология рассматривала след как остаток каких-то сооружений и событий прошлого; эсхатология — как предвестие каких-то событий будущего, которые вернут означаемому единство с означаемым и явят последнее во всей его бытийной полноте. Все это, по Деррида, метафизические проекции следа — и письма в целом, которое представляет собой только само себя, свою «следовость», совокупность различий, чистую способность различия. Как предмет грамматики, письмо лишается онтологических, антропологических, эсхатологических характеристик; оно проскальзывает между всеми определениями, между природой и культурой, между физическим и интеллектуальным и остается неопределимым, что делает невозможной и саму грамматику как позитивную науку, ибо она, как способ письма о письме, сама составляет лишь след, а к природе следа относится способность самостирания. Ненаучность грамматики — это торжество самого письма, Письма. Революционно выходя из подполья, оно подписывает теперь приговор всей западной цивилизации, всем ее упованиям и ценностям, построенным на презумпции «наличия означаемого». Грамматика разоблачает эту иллюзию, указывая на письмо, за которым нет ни говорящего, ни голоса — одна только игра знаков, соотносящихся между собой и забывших свои означаемые и самого означаемого, которых, по сути, никогда не было и не будет.

Итак, грамматология возлагает на письмо огромную (анти)метафизическую нагрузку, делает его той «точкой опоры», которая позволяет «перевернуть» всю западную цивилизацию и усмотреть ее безосновность, бесприсутственность. Что же остается делать скрипторике, которая тоже занимается письмом, пишет о письме? Скрипторика как новая дисциплина отправляется ровно оттуда, где грамматология устанавливает радикальное отличие письма от речи и утверждает письмо как форму отсутствия, точнее, стирания (и пишущего, и «писуемого», т.е. предметного содержания письма). Но именно такое самостирание, самопреодоление и составляет бытие пишущего. Речь идет не о факте, но о процессе, о кеносисе, о постепенном истощении и исчезновении пишущего в актах письма. То, что письмо предьявляет себя в отсутствии пишущего, есть не менее живое и мощное свидетельство о нем, отсутствующем, чем то, что предьявляется посредством голоса и жеста.

Если грамматология и вправду антиметафизика, то очень наивная, прямолинейная. Она полагает, что если письмо отвлечено от своего субъекта, от акустики его голоса и пластики его жеста, значит, субъект просто исчезает в письмо. В дерридеанской грамматологии отсутствуют одушевленные местоимения. Есть «что» (письмо), но ни разу не возникает «кто», «он», «она», «я», «ты» — тот, кто пишет. Можно подумать, что буквы сами собой возникают из воздуха. Как будто если человек не стоит непосредственно за дальнедействующим прибором, например, запущенной к Луне ракетой, то она и не управляется человеком и не служит его целям. Кем она управляется? Если бы мы ответили: игрой гравитационных сил, притяжением Земли и Луны, космическим вакуумом, — получилась бы грамматология ракеты. Но мы-то знаем, что ракета создана и послана человеком, хотя его и нет при ней, и что гравитационные силы были учтены человеком и рассчитаны для того, чтобы ракета могла совершить свой полет. Скрипторика ракеты признает и изучает роль скриптора, т.е. ее посланца, строителя, наводчика, ракетчика.

Нелепо предполагать, что письмо меньше свидетельствует о пишущем, чем речь — о говорящем. Просто это ино-

го рода свидетельство — и иной масштаб и уровень субъекта. Исчезая в качестве эмпирического присутствия, пишущий заново возникает в письме, но это уже Другой Субъект, способный проявлять себя в формах своего отсутствия. Это сверхсубъект, способный умирать в своем предикате, как писатель умирает в письме, а актер умирает в персонаже. Умирает так, что у глядящих на сцену возникает соблазн провозгласить смерть писателя, актера, вообще автора, субъекта, человека. Такая смерть многократно и торжественно провозглашалась постструктурализмом. Но представляется, что такое умирание не есть факт смерти, на который нужно ответить некрологом. Это процесс жизни, которая умирает, чтобы возродиться в формах своего более значимого и могущественного отсутствия. Письмо оказывается сильнее и бытийнее голоса не потому, что автор в нем отсутствует, а потому, что он перешагивает себя, приносит бескровную жертву — а отчасти и кровавую, если вспомнить о связи крови и чернил и о жертвенных ритуалах, из которых возник семиозис, процесс означания.

Такое инополагание себя — самостирание через самописание — и составляет работу пишущего. Скрипторика принимает то определение письма, которое сложилось в грамматологии, но ставит следующий вопрос: Кто есть тот, Кого нет в письме? Зачем он живое свое бытие во плоти, в голосе и жесте меняет на свой отдаленный след? Скрипторика — это антропология, психология и персонология письма, именно в его радикальном отличии от речи, в его «нефизичности» и «не-метафизичности». В этом скрипторика наследует грамматологии — и делает следующий шаг. Метафизичность ведь не только в том, чтобы видеть в письме всего лишь отображение речи, знак знака, удаляющий от означаемого. Метафизичность и в том, чтобы видеть в письме самостоятельную сущность, игру различий, которая совершается сама по себе, как свое начало и конец, без малейшего отношения к пишущему. Такова метафизичность уже самой грамматологии, которая фетишизирует письмо, абстрагируя его от условий, орудий, причин и производителей.

Станный, абстрактный, призрачный мир самосущих писем, играющих между собой безотносительно к свое-

му человеческому (перво)началу. «След — это не только исчезновение (перво)начала, он означает также — в рамках нашего рассуждения и на всем протяжении нашего пути, — что (перво)начало вовсе не исчезло, что его всегда создавало (и создает) возвратное движение чего-то неизначально-го, т.е. следа, который тем самым становится (перво)началом (перво)начала»<sup>3</sup>. Вот это возведение самого письма в первоначало и есть новейшая метафизика, в которую упирается грамматология как в предел очищения следа от всего следящего, от всего, следом чего или кого является след. След оказывается «(перво)началом (перво)начала», т.е. занимает место того первоначала — человеческого или божественного, «онтотеологического», — следом которого раньше являлся. Но ведь это не чья-то зловредная метафизика, это сам язык спрашивает: «след кого или чего?», устанавливая валентность следа, его связь с родительным падежом. Если же предположить, что след сам оказывается первоначалом, от которого производится понятие «следящего», как и от письмен производится понятие пишущего, — тогда нужно признать, что это просто обратная метафизика, метафизика самого письма.

Единственный способ расплести эту метафизическую сеть — путь, который предлагает сам Деррида, но теперь он должен быть проделан в обратном направлении: *возвратное движение* от следа, ставшего первоначалом, «к чему-то неизначальному». Только само это возвратное движение: от письма к пишущему и обратно — и способно удерживать нас от метафизики; только постоянная смена первоначал, определяющих друг друга и снимающих свою метафизическую (перво)начальность именно в этом переворачивании, при котором производящее само становится производимым. На тот переворот, который произвела грамматология, устремившись от человека к письму, скрипторика отвечает новым поворотом: возвратным движением от письма к человеку.

### Антропология письма

Каким же предстает пишущий в свете того, что мы теперь знаем о самостоятельности письма, его независимости от речи? Если письмо есть форма отсутствия пишущего,

то зачем же человеку быть там, точнее, убывать туда, где его нет? Мы начнем издалека, с трех форм жизни. Животное отличается от растения тем, что осваивает пространство, свободно передвигается в нем, отделяется от своего «здесь», открывает для себя «там» и «туда». Человек отличается от животного тем, что осваивает время, свободно передвигается в нем, отделяется от своей укорененности не только в «здесь», но и в «сейчас», открывает для себя «тогда» и «потом». И память, и воображение, и язык, и культура вообще — это способ человека выйти из замкнутости своего настоящего. Человек обживает памятью свое прошлое, воображением — свое будущее, он редко пребывает только в настоящем.

В меру своей прирожденной свободы каждое существо мучительно переживает несвободу. Животное томится в клетке, у него развивается невроз заточения. Человека томит не только пространственная, но и временная заточенность, у него развивается невроз проходящего времени. Этот невроз чем-то родствен клаустрофобии, страху тесного, замкнутого пространства. Я хочу жить на просторах времени, я хочу возвышаться над своим маленьким местом в настоящем, я хочу странствовать в прошлое и будущее, помнить других, прошедших, и оставаться в памяти тех, кто придет за мной. Невроз времени — это беспокойство полной ограниченности, сведенности к настоящему, которое исчезает с каждым мгновением; а вместе с ним и человек, заточенный в настоящем, чувствует убывание себя, убывание себя временем. Так возникает ценность следа. След — это самая общая категория моего бытия вне меня, это среда, хранящая меня в отсутствии меня самого.

Животные оставляют разнообразные следы в пространстве, что отмечено разветвленной народно-охотничье-научной терминологией: погрызы (следы зубов), порои (следы рытья), прикопы, потаски (следы таскания, волочения). Есть и другие следы животной деятельности: ямки, норы, берлоги, гнезда, бобровые плотины и т.д. Есть специальная наука — ихнология (от греч. ихнос, *ichnos* — след). Эта отрасль зоологии, «наука о следах», хорошо разработана, так как имеет немалое значение для криминалистов, охотников, натуралистов, наконец, палеонтологов. Значительная часть

информации о древнейших организмах, которой мы располагаем, была получена благодаря изучению их следов.

Таким образом, след — это категория не только пространства, но и времени, он хранит материальную память об организме в отсутствии его самого. Вся наша жизнь отпечатана во множестве следов, большей частью невоспринимаемых, молекулярных, вибрационных, тактильных, пахучих... За человеком не только следует его энергетическая аура, но и его *ихносфера*, наследованное им пространство, которое сохраняет память о нем и после его смерти. Множество царапинок, полос, помятостей, вдавливания, запотеваний, исходящих от его прикосновений, дыхания, шагов, звуков голоса... Всю эту совокупность материальных эманаций человека в окружающий мир и можно назвать *ихносферой* (греч. *ichnos* след + *sphaira* шар). Было бы интересно, пользуясь современной техникой, охватить весь этот «следовой шар», все множество следов, которые оставляет человек, причем не только в предметном мире, но и в восприятии и памяти других людей, начиная от следов рукопожатий и любовных объятий и кончая воздействием его личности на окружающих. Есть люди с огромной ихносферой, которая светится «славой», и есть люди неприметные, с маленькой ихносферой, но вообще *бесследных* нет, даже среди мельчайших тварей, вроде муравьев, оставляющих пахучие дорожки своих следов.

Но животное, как правило, оставляет свои следы незначай, как следствия определенных жизненных процессов, таких, как пробежка, погрызка, рытье норы, устройства гнезда. Некоторые животные (например, собаки) намеренно помечают свою территорию, пользуясь запасом естественных «чернил», которые им выделила природа. Но у человека эта «следопись» превращается в лейтмотив существования: не просто следствие, но цель жизненного процесса. Причем в отличие от животного, которое оставляет следы в пространстве, человек «ослеживает» себя во времени, т.е. стремится оставить как можно более прочный след, переживущий его самого. Невроз времени порождает следопись как попытку фиксации себя для вечности, стремление быть в будущем для настоящего и в прошлом для буду-

шего, т.е. помещать себя впереди и позади своего актуального момента во времени. Человек оставляет следы уже не только потому, что идет, но он идет, чтобы оставлять следы. Если невольные, ненамеренные следы-последствия роднят человека с животным, то именно следопись делает его человеком — существом, преодолевающим время.

Есть люди слеодоодержимые, *ихноманы*, как, например, китайский император Цинь Шихуан, усыпальницу которого охраняют тысячи терракотовых воинов в натуральную величину. Но из всех материалов самый *времяупорный* — письменное слово, поэтому пишущий и имеет право сказать о себе: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Правда, одно слово — главное — здесь у Пушкина употреблено неточно: письменность, буква, *рукопись* — это именно рукотворный памятник, другое дело, что руками здесь творится нечто неосязаемое. У Горация («*Exegi monumentum...*»), которого перелагает Пушкин, точнее:

*«Создан памятник мной. Он вековечнее  
Меди, и пирамид выше он царственных».*

Такова антропологическая мотивация письма как оставления следа — бегство от настоящего, свобода передвижения во времени. Текст, в отличие от устного слова, существует в отрыве от автора и постоянно готов ему изменить с тем, кто ему в данный момент ближе: с читателем, критиком, интерпретатором. Но человеческая позиция в бытии далеко не сводится к самоидентификации человека в продуктах его деятельности. Самое человеческое в человеке — это именно его способность отчуждаться от себя. Он забывает себя в написанном — и одновременно создает нечто такое, по чему его помнят. Отсутствие человека в письменном тексте не менее значимо и человечно, чем присутствие говорящего в говоримом. Человек — это создаваемые им формы самоотсутствия, формы самовыражения и самостириания (в их *одновременности*).

Я сошлюсь на английского эпистемолога и ученого Майкла Полани, создателя концепции личностного знания. Вопреки позитивизму, господствовавшему в методологии

науки первой середины XX в., Полани показал, что любая форма знания, даже чисто фактического, содержит в себе личностную прибавку, скрытое личное утверждение. Например, если в учебнике написано, что Земля вращается вокруг Солнца, то в этих словах содержится не просто факт, а личное к нему отношение автора учебника: «я принимаю это, я утверждаю это, я считаю нужным это вам сообщить, вам необходимо это знать» и т.д. «Сказать, что «истинно», — значит подписать некоторое обязательство или объявить о своей согласии»<sup>4</sup>. Но если следовать этой логике, которую я разделяю, то и во всяком — всяком! — письменном сообщении есть скрытое личное утверждение, которое можно передать так: «Я с вами, хотя меня здесь нет. Я дошел до вас через расстояние и время, чтобы передать вам и всем, читающим это, то, что вам необходимо знать. То, что я сообщаю вам, настолько важно, что моего голоса и личного присутствия недостаточно, чтобы передать это всем тем, кому это нужно знать, поэтому я пишу. Я хочу, чтобы даже после меня и независимо от меня это знание передавалось другим». Такова имплицитная посылка письменной формы сообщения, особенно той, что предназначена для печати. Можно сказать, что это не сугубо личностная, но антропологическая предпосылка письменной коммуникации, то, что свойственно пишущему человеку вообще, независимо от его личного намерения.

Акт письма сам по себе содержит скрытую семантику жертвы, самозамещения субъекта в меру его самоотречения. Именно замещение и лежит в основе знака, что позволило Рене Жирану высказать гипотезу о становлении семиозиса из древнейших обрядов жертвоприношения, в которых на невинную жертву переносилась вина тех, кто ее приносит. Жертва — знак, замещающий своего жертвователя. «Империатив обряда неотделим от манипуляции знаками и их постоянного умножения... <...> Охваченные священным ужасом и желанием продолжить жизнь под знаком примирительной жертвы, люди пытаются воспроизвести и репрезентировать этот знак... Именно здесь мы впервые находим знаковую деятельность, которую при необходимости всегда можно определить как язык и письменность»<sup>5</sup>. Исходя из

этой семантики письма, у пишущего всегда не совсем чистая совесть, у него есть, что скрывать, он знает, что производит подмену, ударами пера или клавиш испещряя чистую, «невинную» поверхность листа или монитора. Но что же здесь приносится в жертву? Сам пишущий. Он раздваивается на жертвователя и жертву, он сам означает себя в письме как искупителя своего несовершенного бытия. Искупление же состоит в том, что часть своего напрасного, непроживаемого времени жизни пишущий приносит в жертву другому времени, когда у него найдется читатель-воскреситель. Своим умиранием в письме он наказывает себя за недостойную, недостаточную жизнь, восполняет свой грех, свое умирание в жизни, так сказать, смертью попирает смерть. Письмо — это раскаяние и самонаказание, и пишущие, как бы ни были они разнузданно грешны в жизни, постоянно — и большей частью бессознательно — подвергают себя этому обряду. Они выжигают письма на себе, как татуировку, древнейшую разновидность письма — клеймо на теле жертвы, знак ее обрядовой участи.

Именно в этом антропологическая глубина письма: человек создает мир знаков, потому что он сам неполон, как знак, он местоблюститель Отсутствующего, он замещает кого-то Другого, Совершенного и Безгрешного. Это замещаемое, это Другое в себе он посылает вперед себя, как свое самое заветное, подлежащее записи. Человек ощущает себя знаком, посланием, причем письменным, удаленным от своего источника, и он принимает и несет это Другое дальше, как эстафету. Жертвенность, как искупление вины, требует постоянного умножения знаков: замещение виновного невинным, означаемого означаемым — такова бесконечная эстафета письма, где написанное замещает собой пишущего. Эта жертвенная семантика прослеживается в муках писательства, в метафорах пера как оружия, меча, штыка, в психологической трудности нанесения первого надреза на белое, чистое, незапятнанное поле письма (жертва всегда должна быть непорочной, иначе не действует сакральная сила замещения). Среди многих свидетелей — Ж.-П.Сартр: «Я долго принимал перо за шпагу, теперь я убедился в нашем бессилии. Неважно: я пишу, я буду писать книги; они

нужны, они все же полезны»<sup>6</sup>. Перо — всего лишь знак, замещение шпаги, но такое замещение: человеческой жертвы на животную, кровавой на бескровную, шкуры животного — на выделанный из нее пергамент, пергамента на папирус и далее бумагу, производимую из растений, бумаги — на световой экран, — такое постоянное замещение входит в природу самого письма<sup>7</sup>. При этом важно понять, что орудийность письма направлена прежде всего на самого пишущего, который перед лицом бумаги сознательно или чаще бессознательно готовится совершить заклятие себя. Он может быть сколько угодно язвителен, критичен, агрессивен в содержании своих сочинений, но семантика письма как формального акта — жертвенная. Это принесение в жертву собственной кожи, которая становится бумагой, или собственного глаза, который становится экраном, или собственного пальца, который становится клавишей, а рука — клавиатурой; это умерщвление своего бытия здесь и сейчас ради того Другого, которого я замещаю и который возникает на другом конце письма, перед читателем.

Скрипторика вносит свой вклад в антропологию, представляя человека как знак Другого в себе — и только поэтому производителя знаков. Вещи ознакавливаются только для человека, потому что они вступают в знаковое отношение с тем знаком, каковым является сам человек, исходная точка любого семиозиса. Мир, как писал Л. Витгенштейн, есть все, что имеет место. И лишь человек не имеет своего места, он заместитель, и его «вместо—бытие» запускает ту цепную реакцию замещений, которая превращает мир в семиосферу, в непрестанную взаимоотсылку знаков и игру значений. Поэтому рассматривать письмо безотносительно к пишущему — значит упускать главное:

*Быть не собой для знака и значит быть собой.*

*Быть не собой для человека и значит быть собой.*

### **Персонология письма**

Наряду с антропологической предпосылкой у письма есть еще и психологическая и персонологическая мотивация. Л.С. Выготский, следуя за В. Вундтом, подчеркивает

принципиальное отличие письменной речи от устной. «...Письменная речь в существенных чертах развития несколько не воспроизводит историю устной речи... не есть также простой перевод устной речи в письменные знаки... /.../ Она есть алгебра речи, наиболее трудная и сложная форма намеренной и сознательной речевой деятельности»<sup>8</sup>. В алгебре отсутствуют конкретные числа, единицы исчисления, а возникают некие условные символы, на место которых можно подставить любое число. Точно так же письмо отвлекается от конкретной ситуации устной речи, от наличия означаемых и самого говорящего. «Ситуация письменной речи есть ситуация, в которой тот, к кому обращена речь, или отсутствует вовсе, или не находится в контакте с пишущим... ситуация, требующая от ребенка двойной абстракции: от звучащей стороны речи и от собеседника /.../ Письменная речь и есть алгебра речи»<sup>9</sup>. Именно абстрактность письменной речи затрудняет ее мотивацию для ребенка: «Исследование приводит нас к выводу, что *мотивы, побуждающие обращаться к письменной речи, еще мало доступны ребенку, начинающему обучаться письму*»<sup>10</sup>.

Действительно, шестилетний или семилетний ребенок, которого начинают обучать письму, еще не ощущает в нем никакой личной потребности. Все, что он хочет выразить, он может выразить речью. Когда же возникает эта потребность в письме? Мы знаем, что она возникает именно на руинах «золотого детства», на переломе к отрочеству, когда растущая личность теряет чувство непосредственной связи с окружающим миром, когда возникает тема утраченного и невозвратного детства, обостренное чувство проходящего времени и чувство одиночества, отторженности от окружающих. Это случается обычно в возрасте 11 – 14 лет. Именно в это время чаще всего и начинают вести дневник, испытывать потребность в письменной речи как своеобразной компенсации утраченного душевного единства с миром, с родителями, с кругом сверстников. Письменная мотивация возникает вместе с саморефлексией, расколом себя на субъект и объект. Письмо, где пишущий воссоздает себя вне себя, уже не выражает себя непосредственно в голосе, но опредмечивает себя в письме, и есть знак такого рефлек-

сивного самораскола. Мой текст — это я вне меня, то вне-я, которое я могу писать и переписывать, работать над ним, выходя из-под власти времени и тесноты пространства.

Я приведу одну из первых записей «Дневника» Анны Франк, где хорошо раскрывается мотивация письма определенным моментом становления личности. «Мне просто хочется писать, а главное, хочется высказать все, что у меня на душе. «Бумага все стерпит». Так я часто думала в грустные дни, когда сидела, положив голову на руки, и не знала, куда деваться. То мне хотелось сидеть дома, то куда-нибудь пойти, и я так и не двигалась с места и все думала. Да, бумага все стерпит! Я никому не собираюсь показывать эту тетрадь в толстом переплете с высокопарным названием «Дневник», а если уж покажу, так настоящему другу или настоящей подруге, другим это неинтересно. Вот я и сказала главное, почему я хочу вести дневник: потому что у меня нет настоящей подруги!

Надо объяснить, иначе никто не поймет, почему тринадцатилетняя девочка чувствует себя такой одинокой. /.../ Со всеми моими знакомыми можно только шалить и дурачиться, болтать о всяких пустяках. Откровенно поговорить мне не с кем, и я вся, как наглухо застегнутая. Может быть, мне самой надо быть доверчивее, но тут ничего не поделаешь, жаль, что так выходит. Вот зачем мне нужен дневник» (20 июня 1942 г.).

Так возрастное отчуждение, кризис отрочества, ощущение грусти и сознание собственного несовершенства становятся личностной мотивацией письменной речи, хотя технические навыки письма закладываются в первом классе. Между началом школы и началом отрочества разрыв в 5 — 6 лет — таков возрастной разрыв между формальным обучением письму и возникновением мотивации, которая связана с комплексом подростка, с неврозом уходящего времени и стремлением опосредованно, «отчужденно» запечатлеть на бумаге то, что уже не удастся выразить в непосредственном, устном общении. Нельзя доверять даже друзьям и родителям то, что можно доверить лишь бумаге, т.е. самому себе, спасаясь бегством от настоящего. «То мне хотелось сидеть дома, то куда-нибудь пойти, и я так и не двигалась с

места». Эта попытка куда-то себя девать и невозможность найти себе места здесь и сейчас открывает перед девочкой инобытие письма. Она нашла куда себя деть — в дневник, и она дает ему имя своей воображаемой и невоплотимой подруги, постоянно обращается к нему «милая Китти!» Письменность — это речь одинокого человека, который хочет закрепить свое бытие в отчужденном мире и находит для этого соразмерную форму самоотчуждения в письме. Он абстрагируется от себя, от своего времени и пространства. Наивная субъективность детства уступает сентиментально-рефлексивным формам субъективности, для которых наиболее адекватно письмо как способ обращения к дальнему и неизвестному и позиционирования самого себя как отсутствующего.

Кризис детской «мифологии присутствия»... Возможно, таково происхождение письменности не только в индивидуальном развитии, но в истории человечества, которое от младенческой стадии коллективного бытия и устного слова переходит к индивидуации и рождению письменности. И хотя «возрастной кризис» человечества, т.е. рождение письменности, произошел тысячи лет назад, теоретически он был осознан только в XX в. Философы от Платона до Руссо все еще славил устное слово и противопоставляли его «испорченной», неполноценной, вторичной письменной речи, выражая тем самым психологию «золотого детства» с его мифологией присутствия. Грамматология — позднее осознание нового возраста, в которое вступило человечество, — возраста, когда мотивация к письменности становится первичной и независимой.

### **Будущее письма**

Скриптизация бытия — это не только индивидуальное занятие, но это и поступательное движение всего человечества, которое все более переносит свое бытие в разнообразные формы записи, прежде всего электронные. Скриптика — самосознание и самоутверждение пишущего класса, к которому начинает принадлежать большая часть человечества. Быть — значит писать, т.е. производить знаки, выводящие за пределы собственного тела и включающие скриптора в глобальную семиосферу. Человек, проводящий

все большую часть своей жизни у компьютера, становится по роду занятий скриптором своего бытия. Все становится частью виртуальной реальности, которая по существу есть психофизическая проекция письмен, знаков. Виртуальные города, магазины, банки, университеты, книги, издательства, клубы, профессиональные и досуговые сообщества — все это, впечатанное буквами и цифрами во всемирную сеть, становится субстанцией и горизонтом нашего бытия.

Но разве и сами мы не впечатаны в этот мир по правилам генетического кода? Не здесь ли исток и первичная мотивация письменной деятельности человека, все более разрастающейся, превращающей мир в универсум письмен? Может быть, это обусловлено письменным источником всего живого — генетическим кодом, согласно науке, или миротворящим и животворящим словом, согласно Библии? Мы бессознательно ощущаем свою собственную написанность, словность — и пытаемся ословить и обуквить наше собственное бытие, т.е. перевести его в систему знаков, каким-то образом соотнесенную с теми знаками, из которых оно само возникло. Стоит ли удивляться тому, что организм *написанный* (генетически) становится в лице человека организмом *пишущим* (текстуально), т.е. претворяет мир в письмена, из которых он сам и выходит на свет? Не есть ли человек своего рода гено-скриптный словарь, точнее, сам процесс перевода, природно-культурное существо, предназначенное переводить с языка на язык, с языка генов на язык письмен? Не есть ли инстинкт и интенция письма, в высшей степени развитая у человека, — трансформация тех записывающих устройств, которые создали его самого? Постигая себя, в глубине своего тела, как сообщение, переданное другим поколениям, он и в душевно-умственном своем основании постигает некое слово, логос, сотворивший сначала мир, а затем и его самого. От гена до Логоса (или от Логоса до гена), человек — это письмо, в двойном смысле: как результат и как процесс писания, как написанное и как пишущее.

Парадокс в том, что чем больше разрастается мир письмен, особенно ускоренно — с компьютерной революцией, тем теснее сжимается мир человека в физическом измерении. Почти вся информация о мире умещается уже в ма-

ленький ящик, где скриптор получает вселенную как текстуальное сообщение — и по-своему переписывает его, посылает сообщение от себя. Причем письмо и печать все более становятся прямыми производительными силами, приводящими в действие индустрию (так называемая трехмерная печать, 3D print). Если верить технологическим проекциям не столь отдаленного будущего, заводы и фабрики в перспективе нескольких десятков лет превратятся в принтеры, точнее, нанопринтеры, изготовляющие любые материалы и объекты с заданными свойствами по их описаниям. Пока что трехмерная печать еще не по карману частным пользователям, но вскоре и на домашний принтер можно будет выводить из компьютера трехмерные объекты, распечатывая их в качестве предметов реального мира, превращая виртуальную реальность в часть окружающей среды. *Производить — значит печатать.* Можно будет напечатать любое изделие: от нарядов и мебели до роботов. Можно будет напечатать дом, улицу, город, а если угодно — и целую планету, был бы лишь заказчик и адрес для отправления. В компьютер впечатывается полная информационная матрица желаемого объекта, а на выходе из принтера получается сам объект, сработанный из любой материи, из воздуха, земли, из мусора и пыли, поскольку сборка производится на уровне частиц и атомов.

Но это процесс двусторонний: по мере того, как письмо разрастается в своем миробъемлющем могуществе, мир сжимается до размеров писем, которые занимают все меньшую часть мира. Я ношу с собой в кармане флэшку (flash drive) на 4 гигабайта. Все, что я написал, занимает половину этого драйва, да еще там по нескольку вариантов всего. Все, что я еще успею написать (если успею), уместится на этот же драйв, размером с мой мизинец. Удивительно: мой мозг, работая в течение 40 лет, произвел всего лишь нечто размером с мизинец, а ведь мозговое вещество весьма компактно, это чудо укладки, плотной упаковки. Есть некоторая неловкость и насмешка в том, чтобы уложить в карман все достояние своей мысли и слышать, как оно там брякает между ключами. Но и дальше носители информации будут сокращаться в размере, и кончится тем, что вся

продукция мозга уложится в драйв размером с булавоочную головку. А со временем и все, написанное когда-либо на всех языках, весь коллективный разум человечества, можно будет засунуть в карман каждого из его представителей. Каждый человек со всем человечеством в кармане.

Можно далее представить, как пророчит выдающийся киберизобретатель и футуролог Рэй Курцвайл, что постепенно такому материальному сокращению поддастся и само человеческое тело, так что можно будет в кармане носить полное его описание и инструкцию по сборке. Ведь человек, по Курцвайлу, не субстанция, а информационная модель, матрица (pattern), которая сохраняет свою устойчивость на протяжении всей жизни, хотя материальный состав организма непрерывно меняется; соответственно, она может быть перенесена в другую субстанцию, например, на диск, в память компьютера, откуда может далее передаваться по коммуникационным сетям и размножаться на принтерах в любом числе копий. «...В конце концов мы сможем загрузить эту матрицу, чтобы реплицировать мое тело и мозг с достаточно высокой степенью точности, чтобы копия была неотличима от оригинала»<sup>11</sup>. Человек, несущий в кармане информационную матрицу самого себя... Впрочем, тогда отпадет и нужда в кармане. Стоит ли печатать тело, если его матрица хранится уже даже не на диске, а в квантовом микрочипе? Зачем все это тело, с его громоздкой, уязвимой, болящей и смертной субстанцией, если его информационную матрицу можно носить в одной клеточке, уже не просто как «мой текст», но как «текст меня»? Он никогда не сотрется и не исчезнет во вторичном, «посторганизменном» гене, куда организм в конечном счете свернется так же, как развернулся из первичного, биологического гена. Зачем вообще тела возникают из генов — не для того ли, чтобы сжаться заново в искусственный ген, в языковую молекулу, в информационно заряженную частицу? Или роскошь обладать своим телом — это гедонизм, который в будущем будет позволен очень немногим? Ведь на них нужна еда, тепло, энергия, транспорт, большие материальные ресурсы. Не лучше ли для сверхразумного человечества, если большая часть его разумов будет компактно обретаться в языковых молекулах?

Такова жутковатая перспектива самодостаточного письма как абсолютного будущего цивилизации, которая теоретически предвосхищена грамматологией. Со взрывным развитием письменной вселенной и сокращением телесно-материальной субстанции письма становится очевидным, что грамматология может порождать не только свою (анти)метафизику, но и свою (анти)эсхатологию. Если письмо становится «(перво)началом (перво)начала» (Ж. Деррида), если оно само производит пишущего или даже способно без него обойтись, не приведет ли это к практическому исчезновению человека и растущей дегуманизации знаковой вселенной? По определению Р. Барта, скриптор «рождается одновременно с текстом и у него нет никакого бытия до и вне письма, он отнюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга была бы предикатом»<sup>12</sup>. Скорее наоборот, скриптор рассматривается как предикат текста. Не «автор пишет текст», а «текст пишет скриптора»; скриптор рождается из текста, как фигура подчиненная и зависимая, вплетенная в буквенную ткань, «в лоно которой он чувствует себя не просто погруженным, но именно появившимся в нем» (Мишель Бютор<sup>13</sup>).

Таковы аксиомы грамматологии, которые становятся императивами «постчеловеческой» технологической эволюции, приобретающей поистине эсхатологический масштаб. Речь уже не о традиционной, до-дерридеанской эсхатологии, мыслившей предел истории как воплощение, обитывание всех знаков, всех письмен и предначертаний, которые станут явью, обретут полноту бытия. Указанная грамматологией перспектива, напротив, ведет к тому, что все бытие свернется в знаки, которым уже не нужны будут означаемые (предметы) и означающие (человек), — знаки, играющие между собой, как волны в океане безличного, внесубъектного разума. По предсказанию Р. Курцвайла, к концу XXI в. мир будет населен преимущественно искусственными интеллектами в форме мыслящих компьютерных программ, способных двигаться от одного компьютера к другому через электронные сети. Эти компьютерные программы способны манифестировать себя в физическом мире в виде роботов, а также одновременно управлять множе-

ством своих программируемых тел. Индивидуальные сознания постоянно смешиваются и разделяются, так что уже невозможно определить, сколько «людей» проживает на Земле. Новая пластичность сознания и способность перетекания из интеллекта в интеллект серьезно изменят природу личной идентичности. Физические, технологически неопосредованные встречи между двумя людьми в реальном мире — для разговора или по делу — станут исключительно редкими<sup>14</sup>.

Иными словами, то, что традиционно понимается под субъектом, растворится в информационных потоках, в электронных сетях. Самоуправляемые компьютерные программы, как тютчевские «демоны глухонемые», будут вести беседу между собой. Нет ли прямой теоретической связи между грамматологией, исходящей из отсутствия человека в письме, и футурологией самодействующих компьютерных программ? Грамматология, помноженная на мощь электронных и нанотехнологий, представляет человека как исчезающий субъект в грядущем мире машин письма.

Этой граммато-эсхатологии можно противопоставить только понимание того, что пишущий больше письма, несводим к письму, и что само письмо проистекает из самоопустошения-самовозрастания пишущего. «Творец» — это вообще логически противоречивое понятие, поскольку он и присутствует, и отсутствует в сотворенном — присутствует именно своим отсутствием. Отделяя творение от себя, он становится одновременно и меньше, и больше себя на величину творимого: творец-0, стремящийся к нулю, и Творец-∞, стремящийся к бесконечности. Грамматология обращена к предельному умалению, исчезновению пишущего, тогда как скрипторика обнаруживает и его возрастание, новые, трудно описуемые формы субъективности. Попросту говоря, кто такой Пушкин: «ничтожнейший из всех детей ничтожных мира», оставшийся за пределом им написанного, как и написанное — за пределом его личности? или поэт, который охватывает собой мир своих текстов и приобретает иную субъективность — Поэта? Чтобы выразить это противоречие, нужна асимметричная формула: творение не есть творец, но Творец объемлет и свое творение. Написан-

ное Пушкиным не есть Пушкин, но Пушкин есть и то, что он написал. Технологии искусственного разума не суть человек, но феномен человека охватывает собой и эти технологии. Их настоящее и будущее немислимо без человека, без естественного разума, соединяющего искусственный разум с разумностью самой жизни. Творческое развитие технологий невозможно без способности самозамещения, выброса из себя Другого, которое свойственно именно человеку. Это проявляется и в том, что сам разум выбрасывает из себя другое — ошибку, глупость, ересь, аномалию, мутацию, просчет, который становится точкой отсчета для новых, логически невыводимых систем мысли. Если не человек, то кто же будет ошибаться в безупречно считающих технологиях будущего? От кого будет исходить эта энергия заблуждения, инакомыслия, инаковидения, чудачества, производящая безумные идеи и парадигмальные сдвиги знания? Пусть машина научится думать — но сумеет ли она быть настолько безумной, чтобы совершать прорывы за пределы своего разума?

Даже если вернуться к мысли о том, что человек, как биокультурное существо, есть только перевод с языка генов на язык скриптов, — ведь это по сути означает, что сам он не переводит ни на один из этих языков. При всяком переводе неизбежны ошибки и неточности, два языка неэквивалентны (иначе зачем и перевод?), информация отчасти теряется, отчасти увеличивается, т.е. происходит *трансформация*, которая и составляет неизбывное авторство человека. Между генами и скриптами совершается тайна возрастающей человеческой транс-субъективности<sup>15</sup>.

Предмет скрипторики — не столько биографический, эмпирический субъект, скрипящий пером или стучащий по клавишам, сколько те формы сверхсубъективности, транс-субъективности, которые возникают в процессе письма и объемлют все его суверенные территории. Пушкин как (а) субъект своих житейских поступков; (b) как создатель своей империи письма; а главное (с), как то, что разделяет и объединяет этих двух субъектов, один из которых в отношении своих текстов стремится к нулю, а другой к бесконечности, — вот проблемное поле скрипторики. И если

грамматология предвосхитила тенденции расчеловечения информационных технологий, то, быть может, скрипторике дано будет очертить новые возможности их очеловечивания на уровне сверхэмпирического субъекта? Ради понимания этой роли пишущего, Номо Скриптор, и написана данная статья.

### Примечания

- <sup>1</sup> Основоположник грамматологии – американский исследователь польского происхождения И. Гелб. *Gelb I.J. A Study of Writing: The Foundations of Grammatology*. Chicago, 1952. Русский перевод: *Гелб И. Опыт изучения письма: Основы грамматологии*. М., 1982.
- <sup>2</sup> *Деррида Ж. О грамматологии*. Пер. с франц. Н. Автономовой. М., 2000. С. 200.
- <sup>3</sup> Там же. С.187.
- <sup>4</sup> *Полани М. Личностное знание. На пути к посткритической философии* (1958). Пер. с англ. М., 1985, С. 260.
- <sup>5</sup> *Girard R. Things Hidden since the Foundation of the World*. Standford University Press. 1987. P. 103.
- <sup>6</sup> *Сартр Ж.-П. Слова*. М., 1966. С.173.
- <sup>7</sup> О связи жертвоприношения и знакообразования я писал раньше в гл. «Знак и жертва. Письмо и ритуал» // *Эпштейн М. Знак пробы. О будущем гуманитарных наук*. М., 2004. С. 216 – 227.
- <sup>8</sup> *Выготский Л.С. Мышление и речь*. Собр. соч. в 6 тт. М., 1982. Т. 2. С. 236, 240.
- <sup>9</sup> Там же. С. 237.
- <sup>10</sup> Там же. С. 238.
- <sup>11</sup> *Kurzweil Ray. The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology*. N.Y., 2005. P. 383.
- <sup>12</sup> Цит. по: *Новейший философский словарь*. Изд. второе. Минск, 2001, С. 920 – 921.
- <sup>13</sup> Там же. С. 921.
- <sup>14</sup> Такое видение нового века изложено в книге: *Kurzweil Ray. The Age of Spiritual Machines*. N.Y., 1999.
- <sup>15</sup> Более того, исходя из данных современной биологии можно сказать, прибегая к лингвистической метафоре, что любой живой организм (не только обладающий разумом) сам активно пишет себя, создает себя как текст на основе языка генов, подобно тому, как человек создает письменный текст на основе своего знакового языка. Информация о строении клетки и организма не содержится в готовом виде в ДНК, но создается благодаря «писательской» активности самой клетки и организма (см.: *Голубовский М.Д. Век генетики: Эволюция идей и понятий*. СПб., 2000).